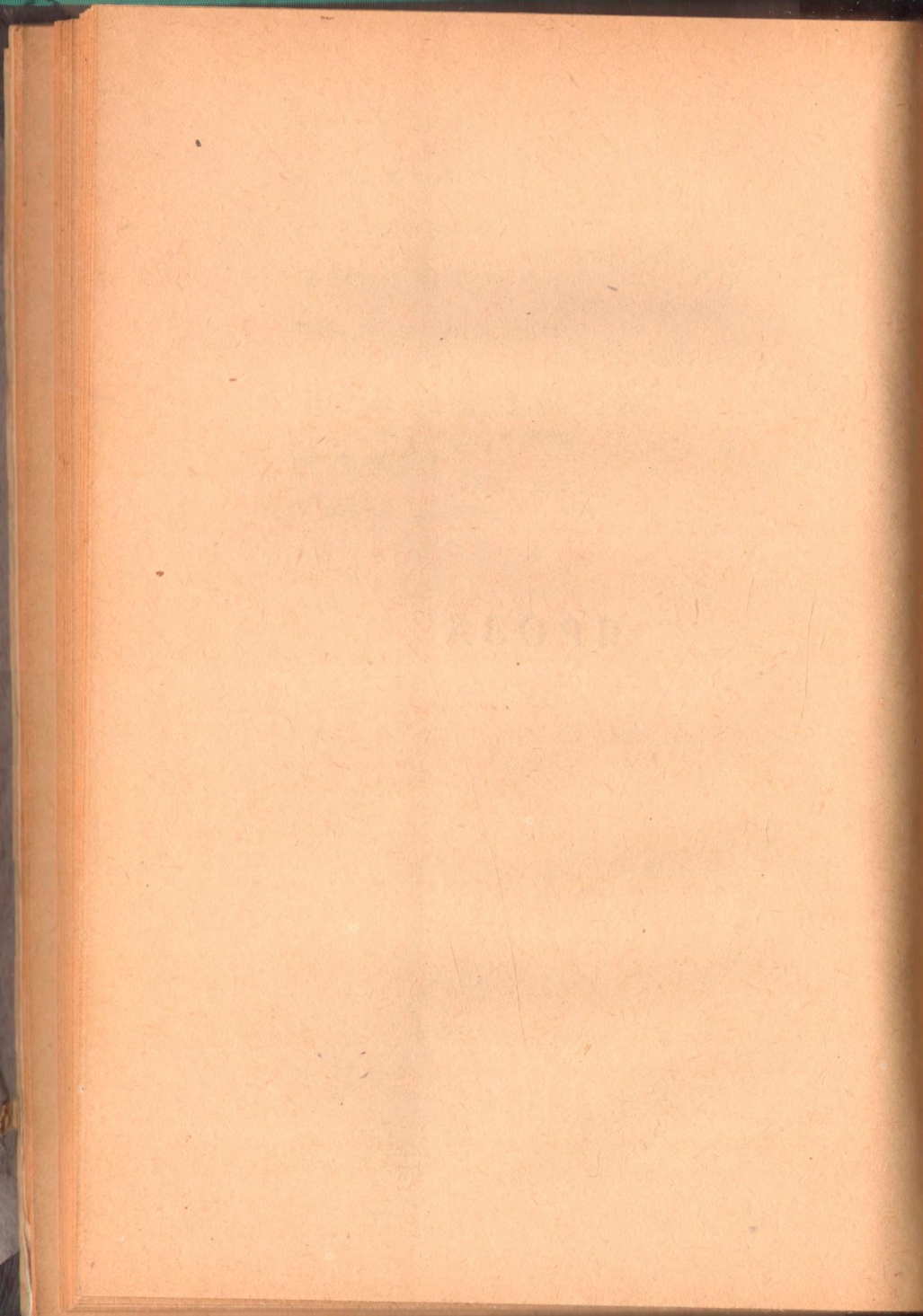


**ПРОЗА**





**ХИКМАТУЛЛИН**

(Из повести — «Похождения Хикматуллина на маневрах»)

**Я — ЛЖЕУДАРНИК**

Кое-как я немножко отогрелся. Спать больше не хотелось. Калимуллин шепотком рассказывает соседям о прочитанном, о том, как воевали в годы революции, какие трудности переживали рабочие, как победили буржуев. Все рассказал, ничего не пропустил...

На востоке вспыхнула заря. На опушке леса слабо обрисовались контуры какой-то кучки, похожей на скирд соломы.

«Эх, зарыться бы в ней и заснуть!» — думаю я.

Захотелось мне удрать. Вот, думаю, тихонечко проберусь между деревьями и залягу в скирд. Будь, что будет, все равно терять нечего. По крайней мере выплусь в тепле...

Но в этот самый момент откуда-то появилась перед нами собака. На шее портфель. Из портфеля вынули сверток. Собака подождала, пока вынули сверток, потом твякнула, будто сказала «до свидания», и побежала дальше. В свертке оказались газеты. Товарищи принялись за чтение. Ко мне подполз Калимуллин.

— Видел белую собаку?

— Видел.

— Зачем она приходила?

— Газеты приносила.

— А что написано в газете, знаешь?

— Нет, не читал.

— Ну, так слушай.

И стал Калимуллин шопотом читать:

— «Красноармеец N роты Хикматуллин ясно доказал на маневрах, что он является лжеударником. Он первый отстал в по-

ходе. Натер ноги. Ружье его покрылось ржавчиной. С начала маневров он получил два наказания и несколько замечаний. Несмотря на то, что этот самый Хикматуллин заключил договор на соцсоревнование, он известен во всем отряде с самой плохой стороны. Все его недостатки вытекают из его невнимательности. Он никогда не слушает командира. Он ничего с желанием не делает. Он плохой воин и вернется плохим борцом за новую деревню. Не берите с него пример. Не будьте, как он. Он единственный лжеударник... Если он не исправится, то будет позорным пятном на Красной армии».

— Слышал?—спрашивает Калимуллин.

— Слышал,—отвечаю я.—Но что же поделаешь, если у меня ничего не выходит?.. Ноги я натер не нарочно. Они сами натерлись. Наказание у командира не выпросил. Он сам дал.

— Замолчи,—перебил меня Калимуллин.—Видел собаку, которая принесла газету? Она хоть и животное, а научилась. Ты же человек. Как тебе не стыдно! Вот я ничем не лучше тебя, а мне ни одного наряда не дали. Если ты не хочешь брать пример с меня, то хоть с собаки бери его. Я не могу поверить, что ты не можешь научиться боевым порядкам. Попросту ты защитник буржуев и кулаков.

— Ну, это положим. Я никогда буржуев не защищал и не буду.

— Нет, Хикматуллин. Кто не готовится к борьбе с ними, тот их защитник.

Вот куда завернул Калимуллин!

Как быть? Пропащий я человек. Осрамили меня в газете.

— Постой,—говорю,—Калимуллин. Ошибаешься ты.

Калимуллин и слушать не хочет.

— Я твоим словам не верю. Ты на деле докажи,—сказал он и отошел.

Я остался смущенный. Да, осрамила меня собака, осрамила.

### САМОЛЕТ

Вдруг показался над лесом аэроплан. Раздалась приглушенная команда:

— Самолет!

Страшно стало мне. Ежели, думаю, самолет заметит меня, так за мое упрямство имеет полное право настоящую бомбу запустить. Раньше всех поторопился я укрыться. В секунду добрался до деревьев и залег под листвой. Самолет пролетел. Мы вышли из своих убежищ. Оказывается, отделком следил за мной. Видно,



решил, что, дескать, этот Хикматуллин не сумеет укрыться и погубит все отделение. Но я укрылся раньше всех.

— Молодец, всегда так надо,—похвалил отделком.

Обрадовался я. Ведь редко приходится на мою долю такие похвалы.

## ГАЗ

За поляной раздалась выстрелы. Они трещали все чаще и чаще. Иногда бухало орудие, и было похоже на то, будто среди мелких звезд выплывает большая луна. Такал пулемет.

Воздух свежий, бодрый. Со стороны неприятеля веет приятный ветерок. Небо порозовело. Скоро солнышко выглянет, обогреет иззябшее тело. А пока холодно. И ветер все дует.

Слышу команду:

— Газ!

Я дал себе обещание быстро исполнять всякую команду, всякий приказ. Как только раздалась команда, схватился за противогаз и в мгновение ока надел его. Захотелось мне подойти к товарищу командиру, получить новую похвалу, глядь—противогаз дырявый. И рот и нос—все наружу. «Ну, ничего,—думаю я,—на маневрах настоящий газ не пускают, а просто объявляют, что, дескать, пущен газ, и, значит, надеваешь маску. Дырявая она или нет—не важно». Успокоенный такими думами, глянул я вперед да так и обмер,—стелется по земле газ, тучатучей. И прямо на нас. Сначала я глазам своим не поверил. Зажмурился. Снова поглядел. А газ все ближе. Оглянулся я на товарищей. Все в противогазах. Стреляют. Испугался я. А газ уж тут. Закрыв я рукой дыру на противогазе и плюхнулся на землю. Полез в нос сладкий запах.

«Погиб,—думаю,—погиб».

Вскочил, кинулся к командиру.

— Спасите! У меня противогаз дырявый.

Сладкий запах щекочет нос. Пробую не дышать—задыхаюсь.

Подошел тут ко мне посредник с белой повязкой на рукаве и говорит:

— Товарищ красноармеец, вы убиты.

Посмотрел я ему в лицо. Противогаза нет. Отлегло у меня на душе: значит, газ ненастоящий. Умирать я уже привык. Лег на землю. Посредник отошел. Ладно. Я доволен. В два дня два раза умирал, а все же доволен. И как не быть довольным! Думал, настоящий газ—ошибся. Думал, по-настоящему умираю—опять ошибся.



Не успел порадоваться, подошел ко мне отделком:

— Говорил я в лагерях, что если у кого противогазы дырявые, заявляйте мне?

— Говорил, товарищ командир.

— Так почему же ты не обменял его?

— Я не знал, что так случится, товарищ командир.

— Довольно, Хикматуллин, дурака валять. По возвращении с маневров получишь наряд. Смотри, парень, подтянись!

Меня снова обезоружили.

Вся моя радость как в воду канула. Даже раскаиваться стал, что жив остался. Только хотел было исправиться и... получил еще один наряд. Да, товарищ командир говорил: «Заявите, у кого противогазы неисправны, обменяем». А я по небрежности порвал свой противогаз и не сказал.

Меня отослали назад. Я труп. Живой труп. Может, лучше было бы взаправду умереть, чем все это испытать? Что-то еще в газете напишут?

#### ЧЕМ Я ХУЖЕ ДРУГИХ?

В полдень отправились мы в деревню К., а «неприятель» — в деревню Ш., где мы провели прошлую ночь.

На этот раз я от колонны не отставал. Ноги тоже особо не болели: видно, лекарство подходящее дали. Дошел в добром здравьи. Отделком смеется:

— На пользу пришелся Хикматуллину газ. Ни на шаг от колонны не отстал.

Командир взвода сухо так добавил по-русски:

— Пора уж подтянуться, довольно.

— Мы с Хикматуллиным соревнуемся, товарищ командир, — вмешался в разговор Калимуллин.

Как только разговор коснется меня, красноармейцы смеются. Каждый норовит что-нибудь едкое сказать:

— Хикматуллин мастер храпеть.

— В противогазе более двух часов не проходишь, а Хикматуллин может двадцать часов ходить. Ха-ха-ха!

— Хикматуллин не желает умирать без разрешения командира.

— Хикматуллин, когда реку вброд переходит, одну ногу разувает.

Хикматуллин такой, Хикматуллин сякой...

Мне даже слушать надоело. Сначала я внимания не обращал: думал — поговорят, поговорят и перестанут. Но они не пере-



стали. Даже частушки сложили. Не выдержал я, задумался. Чем я хуже других? Почему я стал посмешищем? Задрал я голову повыше и подошел к взводному командиру:

— Товарищ командир, надо мной насмеются.

— А кто в этом виноват. Не сам ли?

— Сам, товарищ командир.

— Так почему же не исправишься?

— И в этом сам виноват, товарищ командир. Я даю обещание с сегодняшнего дня исправиться и вернуться с маневров таким, как все. Я ничем не хуже других.

Командир обратился к примолкнувшим красноармейцам:

— Товарищи, Хикматуллин, известный не только в нашей роте, но и во всем полку своими плохими качествами, дает слово подтянуться. Следите за ним. Пусть он на деле исполнит свое обещание. Вы же помогите ему в этом.

Красноармейцы захлопали в ладоши. Охватила меня радость неопишуемая. Вот теперь я покажу себя. Я теперь ударник.

### ТОЛЬКО БЫЛО НАЧАЛ ИСПРАВЛЯТЬСЯ...

Я, Калимуллин и еще трое красноармейцев вошли в отведенную нам квартиру. Целый день мы были заняты на маневрах. Со вчерашнего дня ничего не ели. Обед не скоро. Решили напиться чаю.

Приветливая хозяйка поставила самовар. Сели мы за стол, и только развязали мешки, как Исламов подскочил, будто ужаленный. Сердце мое так и похолодело.

— Калимуллин, у меня из мешка хлеб украли,—делано-спокойным тоном сказал он.

Калимуллин обернулся ко мне. У меня в руках хлеб.

— Хикматуллин, ты вчера сказал, что у тебя нет хлеба. Откуда взял?

Струсил я. Ну, думаю, попался. Сознаться в краже? Невозможно. «Без хитрости не проживешь»,—решил я и соврал:

— Сам же ты видел, как мне его дала старуха из деревни Ш.

Калимуллин с недоверчивым видом взял хлеб из моих рук, сравнил его со своим и протянул Исламову:

— Исламов, на. Этот хлеб родной брат моему: значит, он твой. А у старухи хлеб был совсем другой.

И повернувшись ко мне, добавил:

— Дрянь ты, Хикматуллин. Уже за воровство принялся. А еще обещался исправиться!



Как быть? Вина моя.

— Так это же для того, чтобы не нарушить договора. Ведь мы уговорились не съедать хлеб раньше времени.

— Дурак ты, Хикматуллин. Соцсоревнование заключают не для того, чтобы красть, а, наоборот, чтобы изжить все недостатки, чтобы победить буржуев в будущей войне. А ты звание красноармейца порочишь.

— Больше не буду. Ведь я хлеб вчера взял, а сегодня исправился.

— Зачем же врешь?

Не нашелся я, что ответить. Только было начал исправляться и... попался. И Исламов хорош! Припрятал бы хлеб подальше, вот и не крали бы.

Я молча встал из-за стола и растянулся на широкой, мягкой хозяйской постели. Хотел успокоиться, заснуть—сон не берет. Охватила меня тоска, охватило горе...

### СЛОВА КОМИССАРА

Иду это я, вдруг слышу:

— Хикматуллин!

Посмотрел—товарищ комиссар.

Похолодел весь и думаю: «Опять попался. Не сумел как следует честь отдать. Опять получу наказание». Не успел я взять под-козырек, а комиссар говорит:

— Вольно, вольно.

А сам с улыбкой, как товарищ, подходит ко мне. Подошел и положил руку на плечо. И мне стало приятно, легко, будто сняли с меня все горе.

— Ну, как дела, Хикматуллин? Не очень ли досаждают занятия?

— Ничего, товарищ комиссар,—выпалил я первое, что подвернулось на язык, а сам дивлюсь—откуда узнал он мою фамилию. Ведь он первый раз в жизни со мной встречается.

Подробно расспросил комиссар мое прошлое, почему я был против колхозов, за что получил наряд. Пожурил как следует. На все вопросы отвечал я прямо, без обмана. Подконец комиссар сказал:

— Ты, товарищ Хикматуллин, не заинтересовался политграмотой, не понял ее. Поэтому ты не знаешь о войне, которую готовит против нас буржуазия. А не зная этого, не придаешь значения боевой подготовке. В деревне же ты поддался кулацкой



агитации. Так ты не сможешь стать нашим человеком. А тебе нужно быть нашим. Возьми себя в руки. Внимательно слушай, что говорят политрук, командир, комсомольцы. И ты поймешь. Мы тебя таким в деревню не отпустим.

Я откровенно рассказал товарищу комиссару обо всем, что накопилось у меня на душе. И стало мне так легко, будто свалился с плеч давящий груз.

— Теперь я объявляю себя ударником,—закончил я.

На прощанье комиссар пожал мою руку.

## СЕРЕБРИСТАЯ НУРМИНКА

(Отрывок из повести)

### ФАБРИЧНЫЙ САД

От самых ворот тянутся длинные прямые березовые и сосновые аллеи. В центре сада—спортивная площадка. Влево от нее, в конце усыпанной желтым песком дорожки—летний театр, вправо, за узенькой аллеей, обсаженной подстриженной акацией,—буфет, скамейки и беседки, обвитые плющом. С одной стороны сад примыкает к красным корпусам фабрики, с другой—подступает к самому берегу серебристой Нурминки.

Еще рано. Только что взошло яркое, кровавое солнце. Над болотистым берегом реки колыхается густой туман. Солнечные лучи радугой переливаются на каплях росы. Тихо в саду. Даже листья осины не шелхнутся. Из-за фабричных корпусов слышатся мерные вздохи электрической станции:

— Уф... уф... уф...

Электрическая станция—сердце фабрики. Стальные прутья, обмотанные резиной,—кровеносные сосуды. Ток-бегун—горячая кровь, кипящая в молодом сердце.

Мертва фабрика без электричества. Если остановить ток, скинуть шкивы,—замолкнут станки, замрут стальнотубные моечные машины. Фабрика умрет.

В одиннадцать часов по лестницам заструился поток рабочих. Они идут в сад подышать свежим воздухом, закусить. Оживает сад.

По аллеям, тенистым тропинкам разбредаются группы молодежи.

Везде слышатся шутки, смех...



## ДИРЕКТОР ВОЗРАЖАЕТ

Первая смена уходит. В фабкоме шум. Карим, размахивая руками, что-то доказывает председателю фабкома. Председатель молча переводит взор с Карима на стоящего тут же директора. На его лице ясно написано: «Делайте, как знаете». Карим горячится. Директор, указывая пальцем на развешанные по стенам диаграммы, качает головой.

В это время в дверях показалась Фарида.

Она на ходу погладила растрепавшиеся волосы и подошла к директору:

— Я переговорила с ребятами. Они согласны. Теперь дело за тобой.

— Молодец, Фарида!—восторженно крикнул Карим и обратился к директору:—По-моему, нужно сегодня же послать ответную телеграмму. Ну, как? Да или нет?

Директор пожал плечами:

— Не понимаю я вас, товарищи, не понимаю.

Карим взялся за телефонную трубку.

— Райком?.. Мне нужен Хайри-абзы...<sup>1</sup> Хорошо, я подожду.

Через минутку он заговорил снова:

— Хайри-абзы, возвращайся скорее. Пришла телеграмма. Директор возражает. Приходи скорее...

Кончив говорить по телефону, Карим снова повернулся к директору:

— Сейчас Хайри-абзы придет. Вопрос обсудим в партколлеktиве... А ты, директор, много не раздумывай. В этом деле решимость нужна, как на фронте.

Тут зазвенел телефон. Карима вызвали в райком.

Директор взял со стола телеграмму и снова прочел ее:

«Татария—Директору фабрики валяной обуви.

Для Сибирского лесного треста требуется тысяча пар валяной обуви. В случае принятия заказа вышлем уполномоченного для заключения договора. Ждем срочный ответ».

Директор задумался.

«Заказ на тысячу пар валенок. Но на нашей фабрике кварталный промфинплан выполнен всего на семьдесят процентов. А на носу последний месяц. Что будет, если, не выполнив промфинплан, принять срочный заказ?..» Мысли перескочили на Ка-

<sup>1</sup> Абзы—дядя. Прибавляется к мужскому имени при обращении к старшему



рима: «Нашел слово—«как на фронте»! Ишь, петух! Когда мы гнали Колчака, проливали кровь, он, наверное, на печке лежал. А теперь говорит—«как на фронте...»

В дверях показался Хайри. Директор встрепнулся, глубоко вздохнул, как человек, вышедший победителем из тяжелого положения, и протянул телеграмму Хайри.

— Ага, заказ... Поздравляю, поздравляю,—проговорил Хайри, прочитав протянутый кусок бумаги.

— Да, заказ,—смущенно ответил директор, пожимая протянутую руку.

Хайри торопливо бросил портфель на стол, снял кожаную тушку, повесил ее на спинку стула и подсел к столу

— Ну, директор, принимаем заказ?

— Уж и не знаю. По-моему, трудно будет...

#### ВОДА — ВОДА...

Фарида шагала по улице, глубоко задумавшись. Она вздрогнула, услышав свое имя.

«Не Мазит ли?»

И осторожно оглянулась.

«Нет, Карим»,—с облегчением вздохнула она.

Карим догнал Фариду.

— Что с тобой? Или больна? На тебе лица нет.

Поздоровались. Фариде не хотелось рассказывать о бессонной ночи, о слабости, охватившей все тело.

— Ну, кто может похвастаться, что видел меня больной?—отозвалась она, стараясь придать лицу веселое выражение.

Фарида не думала о возможности встречи с Каримом и теперь шла, не зная, как завязать разговор. Ей казалось, что, о чем бы она ни заговорила, Карим догадается о ее состоянии и станет расспрашивать.

Наконец она выдала короткую фразу:

— Разбирался ли вчера на бюро партколлектива тот вопрос?

— Ты о заказе спрашиваешь? Разбирался.

Карим оживился:

— Чуть не забыл... И память же у меня. Конечно, разбирался. Знаешь, директор возражает, говорит—на фабрике пролив, в моечном цехе воды не хватает, толкует пятое-десятое. Ребята, конечно, не соглашаются. В особенности Сафин. «Нам,—говорит,—заказ прислали, а мы отказываться хотим. Тресту, говорит, валенки нужны. Где же и взять их, как не у нас?



А мы...» Тут директор сдал маленько. «Я,—говорит,—принципиально не против». А сам все о недостатке воды толкует.

— Да, прорыв, нехватка воды,—заметила Фарида.

Карим опешил.

«Уж если Фарида так относится к вопросу, то что ж говорить об остальных?—подумал он, но тут же решил:—Нет, Фарида не такая. Сегодня она, конечно, больна».

И он горячо заговорил:

— Прорыв, конечно, прорыв есть. Но мы ведем с ним борьбу, и ты сама прекрасно об этом знаешь. Ты не забудь и то, что, как только новоорганизованные бригады приступили к работе, прорыв в строительном цехе начал уменьшаться. А это значит, что и в моечном цехе он также уменьшится. Кроме того, мы принимаем конкретные меры: организовали в моечном цехе еще две бригады. В них вошли отличные парни. Ведем беспощадную борьбу с прогулами. С каждым днем прогулы уменьшаются, опаздываниям на работу—капут.

Фарида все это отлично понимает. Она верит, что прорыв будет ликвидирован. И как не верить? Ведь она сама трудится над этим, борется всеми силами. Бригады расстилочного цеха номер два организованы благодаря усердию Фариды. Об этом знает вся фабрика. Но!.. вот вода... Этот вопрос не дает покоя. Производительность растет, пущен в ход новый цех, а количество воды не увеличивается. Из-за нехватки воды отстают моечный цех, с каждым днем увеличивается количество немых валенок, а вода...

Этот вопрос одной организацией бригад не решишь.

— А как же с водой? Как вы думаете поступить?.. Если начать рыть колодец, так он до весны не будет готов.

Карим задумался, потом смущенно ответил:

— Как-нибудь управимся...

— Итак, заказ принят?

— Да, принят.

Они молча продолжали путь. Но думали об одном:

«Вода... вода...»

## ЦЕХ ФАРИДЫ

Цех Фариды—один из ударных.

Большая комната, освещенная электричеством. Кругом расставлены длинные столы. У столов—девушки, парни с засученными рукавами. Все они—члены бригады, борющейся под руководством Фариды с прорывом. Они же исполняют большую часть

спешного заказа. Они передовые борцы фабрики—примерные бригадиры. Отстающие цехи работают с помощью этой ударной бригады. Бригада Фарида берет такие цехи на буксир.

Молодежь спорит:

— Об этом ясно сказано в десятом томе сочинений Ленина.

— А что сказано?

— Закрой плевательницу!

— Нет, пусть скажет.

Сафи смутился. Он и сам не был хорошенько уверен в том, что это написано именно в десятом томе.

— Ну что, застыл, мировой агитатор?

— Дайте человеку подумать.

— Тише! Видишь, губами шевелить начал.

— Ха-ха-ха!

Разговор не умолкает ни на минуту. Но работа от этого не страдает. Привычные руки работают дружно. Шерсть из рогожных кулей передается на стол. Она переходит из рук в руки и постепенно меняет свой вид, начинает принимать форму валенка. Шерсть треплют, валяют, щупают, равномерным ли сбоем уложена, снова валяют.

Фарида работает в этом же помещении. Она учит, помогает, наблюдает.

— Фарида, у меня, кажется, неровно получилось.

— Фарида, шерсть вся вышла.

— Фарида, хороша ли пятка?

— Фарида...

И так каждый день, каждый час, каждую минуту. Фарида успевает всюду—отвечает на вопросы, показывает, помогает, требует из склада шерсть, отправляет в моечный цех готовую продукцию.

Но вот раздается гудок.

— Фарида, сегодня на пять пар больше, чем вчера.

— В цехе Демьяна на три пары.

— В цехе Шарифа...

— В цехе Валия...

Фарида выслушивает рапорты и говорит:

— Запишите на доску.

На стене висит большая доска. На ней записываются итоги ежедневной борьбы. По этим записям можно проследить, как с каждым днем увеличивается производительность, как с каждым разом сокращается прорыв. Эти записи—барометр всей фабрики.

— Фарида, дай руку...



— Фарид, мы победим...

— Фарид, за нами вся фабрика...

Фарида довольна. Но она не улыбается. У нее смеется лишь сердце, лишь кровь быстрее циркулирует по сосудам...

## НОВЫЙ СЛУХ

Прошла неделя, как сплетня о Фариде распространилась по фабрике. О ней почти забыли. Уже перестали насмехаться над Фаридой, перестали кидать на нее косые взгляды. Вместо старой сплетни пронесся новый слух:

— Фарид, составила проект об использовании Нурминки.

— Не болтай пустяков!

— А вот и не пустяки. Карим сказал. С Фаридой, брат, не шути. Она на технических курсах обучалась.

— Уж не с Мазитом ли? Ха-ха!

— То-то она все бродит по берегу Нурминки... Только вчера видел. Думаю, уж не топиться ли собирается. Смотрю, нет. Что-то мерит, тину откопала...

— Вот, вот, об этом и разговор...

Новый слух облетел фабрику быстрее старой сплетни. Везде — и в цехах и в столовой говорили о Фариде. Ее уже больше никто не дразнил, никто не бросал вслед обидных замечаний.

Молодежь радовалась:

— Видал?

— Фарид, она наша...

— Вот башка!

Старики переговаривались:

— Ах, мошенница!

— У нее и отец такой был... Нивесть что изобретал...

— Видно, напрасно тогда наговорили на нее.

— Конечно, с зависти...

Услышав полуденный гудок, Фарид, побежала в ячейку. Там сидели Карим и секретарь партколлектива. Они поздоровались с ней и продолжали прерванный ее приходом разговор. Наконец Карим обратился к Фариде:

— Ну, инженер, как дела?

Фарида улыбнулась.

— Проект готов. Не побеседуем ли с Хайри-абзы?

Придвинулись к столу.

— Хайри-абзы, в паровых котлах оседает песок,—начала Фарида.

— Ну, знаю...

— Так, вот... их приходится чистить ранее положенного срока. Кроме того, вода...

— Об этих фактах я давно знаю,—нетерпеливо перебил ее Хайри-абзы.

— Чего же тянешь? Выкладывай сразу,—вмешался Карим.

Фарида заторопилась:

— У меня есть проект...

— Слышал...

— Так вот, артезианский колодец когда-то будет, вот, по моему, и нужно использовать Нурминку. Она глубокая, вода в ней хорошая. А стоимость...

— Чертежи имеются?

— Да. Вот они.

Фарида положила на стол исчерченный лист бумаги и, водя по нему карандашом, стала объяснять:

— Вот это Нурминка. Вот здесь будет поставлен мотор. По этим трубам вода поступит в фильтр. Оттуда в паровые котлы и...

— Понятно. Мы твой проект поставим на обсуждение в производственной комиссии,—сказал Хайри-абзы.

Фарида направила к выходу. Карим схватил кепку и бросился за ней. Молча дошли до будки.

— Молодец же ты, Фарида! На пять!—протянул Карим руку. Это рукопожатие обрадовало Фариду.

Они разошлись, уверенные в предстоящей победе.

## ДИРЕКТОР ПОБЕЖДЕН

За пять минут до начала производственного совещания кабинет технического директора был уже полон. Отсутствовал только главный директор. Кто-то из молодежи предложил начать совещание. Его поддержали. Технический директор взялся за телефонную трубку.

— Ноль-два... Это вы, товарищ директор? Совещание ждет вас... Можно начинать без вас? Хорошо.

Совещание открылось. До прихода директора разобрали мелкие вопросы. Очередь дошла до проекта Фарида. В прениях, следовавших после ее доклада, выступил пришедший к этому времени директор.



— Я вас совершенно не понимаю,—сказал он.—Мы думаем к весне вырыть артезианский колодец, а вы хотите ввести воду из Нурминки. Во-первых, река, вещь ненадежная. Весной может унести запруду. Что будем мы тогда делать? Откуда возьмем воду? Во-вторых, для ввода воды нужен специальный мотор. Откуда вы намереваетесь достать его? Для покупки же нового я не дам вам ни гроша.

Директор кипятился. Его слова больно отозвались в сердцах молодежи. Он говорил веско, уверенно, и некоторых охватило сомнение. Все слушали с большим напряжением. Чаше задымились папиросы. Директор кончил. Молодежь выступила с защитой проекта Фариды. К ним присоединилась часть старых рабочих. Технический директор тоже признал проект заслуживающим внимания. И только председатель фабкома поддержал директора:

— Пустяками занимаетесь. До весны как-нибудь потерпим.

Молодежь повскакивала с мест.

— Откуда кипяток достанете?

— Чем мыть валенки?

— А промфинплан?

— А спешный заказ?

— А паровые котлы? Или хотите, чтобы они засорились песком и взорвались?

Председатель фабкома смутился, хотел что-то сказать, но его никто не слушал. Чтобы привлечь внимание, он поднял руку, крикнул, но крик потонул в гуле голосов. От напряжения его лоб покрылся испариной, и, махнув рукой, он сел на свое место.

Тогда выступил старый слесарь Зямат.

— Проект—башка! Прямо отличный проект. Стоит ли рыть колодец, когда под боком течет река? Никакого артезианского колодца нам не надо. Он доведет до того, что котлы полопаются. А мотор—пустяк. У нас есть старые моторы. Знай, ремонтируй. Возьмем и завтра же объявим субботник. Я первый. Записывайте. Кто еще?

— Я!

— И я!

— Мы тоже...

— Чего спрашивать? Все войдем!

Когда шум немного смолк, поднялся помощник директора:

— Техническое руководство беру на себя.

Снова все зашумели. Молодежь от восторга хлопала в ладоши.

Придя домой, директор лег на кушетку.  
«Не понимаю... Совершенно не понимаю. Сразу решили столь важный вопрос. В наше время так не поступали».

### СЕРЕБРИСТЫЙ ФОНТАН

Фарида хотелось взглянуть на Нурминку, посмотреть на перемены, происшедшие на ее берегу, но было некогда. Не успел замолкнуть гудок, как ее окружили:

- Фарида, сейчас соберется бюро, не уходи.
- Фарида, вечером твой доклад, ты забыла?
- Фарида, помоги составить план.
- Фарида, сегодня заседание шерстяной секции.

И так ежедневно. Фарида старается выполнить все, что в ее силах. Читает доклад, помогает составить план, участвует на заседаниях. И уж не остается времени пойти к Нурминке.

А пойти хочется. Ах, как хочется! Как только терпела она до сегодняшнего дня? Ведь ее проект, составлению которого она посвятила немало бессонных ночей, претворяется в жизнь!

Фарида накинула на плечи пальто и побежала к реке. Рабочие издали увидели ее.

- Сама идет...
- Дай дорогу...
- Инженер идет... инженер...

Фариду окружили. Каждый тянул в свою сторону. Каждый хотел что-то показать. Каждый говорил. Она не знала, куда повернуться, с кем говорить.

Воды Нурминки, недавно привольно текшие вдоль берегов, зажаты каменной стеной и поднимаются выше и выше.

- Испытали ли мотор?—спросила Фарида техника.
- Сегодня испытали. И мотор, и насосы работают отлично. Техник заглянул в будку и, выйдя оттуда, сказал:
- Сейчас сделаем еще одно испытание.

И, повернувшись к рабочим, крикнул:

- Закройте шлюзы!

Шлюзы закрыли. Вода хлынула обратно, закружилась, завертелась.

- К насосам!
- Включи мотор!

Застучал мотор. Насосы ритмично стали втягивать воду. Из труб, еще не соединенных с фабрикой, забил серебристый фонтан.



Прошло два месяца. Пушистая пелена снега покрыла землю. Ребята устроили на Нурминке каток.

В лесу воет ветер, кружит снежинки, строит сыпучие белые горы.

Телеграфист взял из рук Карима текст телеграммы. Застучал аппарат Морзе:

«Заказ выполнен. Присылайте транспорт».

## НОВЫЙ СВИНОПАС

(Из романа «Опаленные»)

Туктамыш помнит себя с раннего детства.

Вот он и двое сестер, одна старше его года на два, другая на столько же моложе, вместе с матерью живут в деревне, ютятся в конуре, крытой соломой. Они не едят досыта. Нет одежды. На троих одна пара дырявых валенок да один заплатанный бешмет. Если старшая сестра уйдет куда-нибудь по делу, Туктамышу и младшей сестренке приходится сидеть дома. Когда надоест слушать завывание ветра в печной трубе, наскучит торчать около окна, затянутого бычьим пузырем, не пропускающего лучей солнца, они играют в бабки на земляном полу в ожидании прихода сестры. Иногда случалось, что Туктамыш захватывал драгоценные валенки и бешмет и мчался на горку, покататься на самодельных обливных салазках. Это было так увлекательно, что забытые сестры целый день просиживали одни в избе.

Проходили зимние короткие дни. Лето освобождало от сидения в постылой избе, и дети играли на улице.

Нужда—плохая помощница веселью. Голодный желудок и среди шалостей и забав мучил, не давая о себе забыть. Беззаботные и упитанные сверстники Туктамыша невольно напоминали ему о нищете его семьи, и это терзало его маленькое сердце, оставляя в нем незабываемую боль.

Отец Туктамыша уезжал зимою на заработки, а вернувшись весной, занимался к кому-нибудь из односельчан на полевые работы.

Если удавалось подряд несколько урожайных лет, то в хозяйстве заводилась даже корова. Тогда наступали для детей радостные, более сытые дни. Но обычно счастье это продолжа-



лось недолго. Корову отбирали либо в уплату подати, либо опять наступал голодный год и оставлял семью без топлива, без теплой одежды, без молока...

Одно воспоминание детства неотвязно всплывает в памяти Туктамыша, и тогда сердце его как-то болезненно сжимается, а по телу пробегают мурашки.

...В то время отец был работником у одного из зажиточных соседей. Случилось Туктамышу вместе с отцом поехать на базар в большое русское село. Там, купив по поручению хозяина деготь, отец подвесил ведро с ним под телегу, лошадь привязал рядом с другими к забору, сунул в руку сыну пару кренделей и, приказав ему стеречь пустую телегу, пошел обратно, врезавшись в самую гущу широко раскинувшегося, похожего на гигантский муравейник, базара.

Усевшись поудобнее на телеге, Туктамыш занялся было своими крендельками, как вдруг его внимание привлекли откуда-то появившиеся поросята. Маленькие, чистенькие, бело-розовые, начали они суетливо щипать помятую грязную траву, подбирать зерна овса, выпавшие из кормовых мешков, подвешенных у лошадиных морд, нимало не пугаясь мальчика. Туктамышу они сразу понравились, и он бросил на землю кусочек кренделька. Произошла небольшая свалка; поросята захрюкали, и один из них завладел кусочком. Подняв мордочку, смотря на мальчика своими крошечными глазками, моргая белыми ресницами, он, казалось, просил еще. Туктамыш опять поделился с ним отцовским гостинцем.

Его очень занимали эти неизвестные «звери», которых нельзя встретить в татарской деревне, приводило в восторг каждое движение поросят; в особенности же казались ему занятыми подвижные, влажные розовые пяточки их мордочек.

Усидеть на телеге было невозможно, и потихоньку Туктамыш слез на землю. Сидя на корточках, он выждал удобный момент и схватил за заднюю ногу ближайшего поросенка. Поросенок, отчаянно визжа, пытался вырваться из детских рук, но потом как будто понял, что зла ему здесь не причинят, и сразу успокоился. На поросятчий визг сбежались ребята и, окружив Туктамыша, тоже стали гладить и щекотать мягкий розовый пяточок.

«Угощать его буду я один, а забавляться будут все... Это не совсем уж ладно!»—подумал Туктамыш и полез обратно к себе на телегу, прихватив поросенка. Здесь он уложил «зверя» к себе на колени и отдал ему остатки кренделька, не переставая



гладить и ласкать его. Для разнообразия он даже ущипнул поросенка за отвислое ушко. Раздался пронзительный визг. Это рассмешило мальчика.

Туктамыш прекратил свою забаву и спустил поросенка на землю лишь тогда, когда заметил издалика тяжелую фигуру возвращающегося отца.

Вернувшись домой, он рассказал матери обо всем, что видел на базаре, о том, что отец купил ему кренделей, доверил сторожить лошадь и телегу, а когда он остался один, то играл с поросенком, кормил его крендельком, и поросенок этот очень милый и забавный зверок.

Туктамыш знал, что его радости всегда были дороги матери, и он ожидал, что и сейчас она засмеется, услышав его рассказ.

На этот раз он ошибся.

Он никогда не забудет широко раскрытых глаз матери. Он помнит, как эти всегда ласковые глаза вдруг потемнели от ужаса, как побелело ее и без того бледное исхудалое лицо, как задрожали тонкие бескровные губы.

— Пропал ты, мой мальчик!.. Зачем ты трогал эту нечистую тварь?.. Что мне теперь делать с тобою?..

Она всплеснула руками и, бросив работу, побежала к абстай-муллихе<sup>1</sup> за советом.

Советы мулл в этом деле очень коротки и очень ясны:

— Огонь!.. Свинячью погань очищает только один огонь!..

Задыхаясь, вернулась мать, развела огонь, догола раздела маленького «грешника» и сожгла все его платье. А потом пинками и тумаками погнала сына к костру, и очистительное пламя опалило его руки, оскверненные прикосновением к поросенку.

И детские руки, недавно так весело игравшие с розовым пятчком, покрылись белыми пузырьками. Потом пузырьки лопнули, оставив на коже жестокие раны. Долго болели руки Туктамыша, и старшая сестра кормила его с ложки. Долго пришлось сидеть нагишом в избе, так как единственное платье было сожжено.

Наконец, когда раны немного зажили и Туктамыш, укутанный в жалкие лохмотья, появился на улице, товарищи встретили его шумными насмешками:

— Туктамыш погладил свинью!

— Туктамышу полюбилась свинья!

---

<sup>1</sup> Абстай — частица, прибавляемая к имени женщины, с знак особого уважения.



Кто-то составил даже частушку:

Пошел я на речку,  
Забрался я в камыш,  
Поглядел, как чушку  
Ласкал Туктамыш.

С улицы мальчик каждый раз возвращался домой разобиженный, со слезами на глазах.

Проходят дни, месяцы, годы, оставляя в детских сердцах следы глубоких ран, скорбные воспоминания. Каждый новый день приносит свои, еще не изведенные обиды, и темной цепью тянутся они в памяти сердца.

Судьбы многих и многих маленьких Туктамышей были таковы.

Работая где-то на стороне, отец Туктамыша сдружился с одним крестьянином из соседней русской деревни—Иваном, таким же бедным и обездоленным человеком, каким был он сам.

Бывало, если Иван долго не показывался в доме отца Туктамыша, отец шел проводить приятеля.

Как-то раз сынишка увязался с отцом. Они застали Ивана в горе. У него околела единственная лошадь, выращенная его заботами,—потеря самая тяжелая для бедняцкого хозяйства. Приятели, усевшись на пороге дома, толковали о постигшем Ивана несчастье.

Отец Туктамыша с трудом подбирал русские слова, Иван мало знал татарских, и все же они понимали друг друга. Мимика лица, движение рук заменяли нехватку в словах. Туктамыш, облокотившись на костлявые колени отца, слушал в оба уха, подолгу останавливая мысленные глаза на волосатом лице Ивана.

Тем временем из-за плетеного хлева показалась свинья, окруженная выводком поросят. Поросята были точь-в-точь такие, каких видел тогда на базаре Туктамыш. Но сейчас они не показались уже ему милыми. Он вспомнил свои руки, обгоревшие на огне. Сердце его дрогнуло, и он громко закричал, бросившись на грудь к отцу и пряча ему за пазуху руки.

— Чего испугался, дурачок?—сказал отец.—Они не тронут тебя. Смирная тварь...

Это знает и сам Туктамыш. Он не боится их, но длинная цепь воспоминаний тянется за ними. В его ушах звенит еще смех и издевки товарищей, и, как будто сейчас, мучительно ноют опаленные огнем руки.

Обратный путь их лежал через цветущие луга. Со стороны



деревни доносится смутный многоголосый гул возвращающегося с пастбища скота. За холмом собирается спрятаться солнце. Воздух хранит еще духоту ушедшего дня. Заколосившаяся рожь доносит густые терпкие запахи. Пестрые бабочки кружат над полевыми цветами. Невидимые в траве, без умолку стрекочут кузнечики. Изредка низко над лугом пролетит стайка щебечущих, спешащих на покой птиц. Белый серп новорожденной луны медленно поднимается на небе.

Отец Туктамыша шагает не спеша по тропинке, погруженный в свои невеселые думы:

«Погода стоит благодатная, идут дожди. Хлеба уродятся. Скоро наступит сенокос, потом жатва. Надо будет перевозить снопы с полей на гумно. Молотить... А там пойдет зима—опять нужно будет бросать семью, идти на заработок... Много полей и покосов здесь у хозяина... Вернешься опять—и опять работа от зари до зари, без отдыха, без передышки, без сна... А что себе заработаешь от этого?.. Мозоли на руках...

...Была бы хоть одна полоска своего посева... не пришлось бы тогда маяться по чужим людям всю зиму, чтобы прокормить семью...

А у Туктамыша свои мысли. Он думает о павшей лошади Ивана. Его беспокоит судьба сынишек Ивана, которым теперь жизнь будет немила. Конь—половина жизни деревенского мальчика. Для мальчиков безлошадного дома и день не в день, и ночь не в ночь. Туктамыш это знает по себе.

Сыновья Ивана ему не жаловались, не говорили с ним, да если бы и говорили, он все равно не понял бы их слов, но своим верным внутренним чутьем он остро чувствовал их горе, и оно было ему близко.

Улучив мгновение, он нарушил молчание и спросил отца:

— Теперь Иван-агай пойдет в работники?

— А почему?—удивленно обернулся отец.

— Как же?.. Ведь тоже без лошади остались!

Отец ласково взглянул на смышленного мальчика.

«Разбираться начинает в жизни»,—подумал он про себя.

— Еще неизвестно,—сказал он вслух,—Иван-агай как будто пока не собирается наниматься в работники... Видал поросят у него на дворе?.. Они его выручат из беды...

— Поросята?—широко раскрыл глаза Туктамыш.

— Поросята!—ответил отец.—Эти шельмецы очень быстро растут. Те поросята, которых ты так испугался, к весне превратятся уже в больших свиней. Иван-агай и говорит: не буду есть



досыта, пусть дети поголодают, а четырех поросят выращу и весной продам. Вот и будут деньги на лошадь.

— За четырех поросят дадут лошадь?

— Еще как дадут-то!.. На свиней стоит хорошая цена. Вот приятно весной, может, опять и станет лошадным.

Немного помолчав, он, как бы про себя, добавил:

— Только может все случиться и по-другому. Заберет начальство у Ивана поросят за подати или займодавцы наступят на горло; придется ему тогда, не дождавшись весны, продать поросят.

— Если поросята такие выгодные, почему же мы не заводим их?—спросил мальчик.—Купили бы лошадь, сами засеяли бы хлеб, я боронить бы стал.

— Нам не разрешено, сынок, мы—мусульмане.

— А почему же мы мусульмане?

— Нельзя так говорить, голубчик. Грех будет. Сам ходай<sup>1</sup> создал нас мусульманами.

— А почему же мусульманам нельзя иметь свиней?

— Этого я, правду сказать, и сам не знаю. Вот вырастешь большой, спросишь у муллы, он тебе и объяснит...

Прошло время. Туктамыш вырос, сам стал отцом. Две руки и десять пальцев продолжали унаследованное от отца дело. Чтобы спросить у муллы: «Почему мусульманам запрещено иметь свиней?», все было как-то некогда. Да и интересоваться этим он как-то перестал.

Он просто верил, как и все:

«Свинья—запрещена самим богом. Она—погань. Все, что соприкасается с ней, опоганено навеки и никогда и ничем не очищается. Тот, кто съест хоть самую малую крошку свинины, станет на вечные времена великим грешником. Такой человек будет на том свете гореть в огне.

«Огонь!.. Огонь!.. Вечный огонь!..»

Эти святые заветы, эти грозные наказания всемиловейшего аллаха переходили из поколения в поколение, передавались из уст в уста. Прочно осев в сознании, они пустили длинные цепкие корни, в которых запутались сердца и чувства сотен миллионов Туктамышей. Опутанный учением мулл народ знал одно:

— Запрещено!

— Закон шарията—крепкий закон. Воля аллаха—вечна и не-

<sup>1</sup> Ходай — бог.



изменна. Послушный раб божий должен подчиняться безропотно.

Все те, у кого предки считались мусульманами, сами стремились стать «послушными рабами». Никто не отступал от закона. А если случалось так, что некоторые находили в себе смелость переступить его, таких выбрасывали из среды без жалости и навсегда.

Туктамыш принадлежал к числу «послушных». Он коротал свою жизнь по заветам дедов, не выделяясь среди окружающих.

Иногда, когда он проходил по городским улицам, встречные озорники, угадав в нем татарина, складывали уголок подола пальто и, находя его похожим на свиные уши, бежали вслед, дразня. Но Туктамыша это не задевало. Наоборот, он гордился своим мусульманством, своей чистотой от «свинячей погани».

Случалось, на работе кто-нибудь из русских товарищей, шутя, дразнил его, похрюкивая над ухом. Но и это не выводило Туктамыша из обычного спокойствия. Он был уверен, что спасен от свиной погани раз и навсегда. Самое большое, желая ответить на шутку, он подражал ржанию лошади.

В народе рассказывали:

...Купил один богач для курбана<sup>1</sup> необычайно жирную овцу. Собравшиеся соседи не находили достаточно слов, чтобы расхвалить ее. Хвалили наперебой, и у кого-то вырвалась фраза:

— Жирная, как свинья!

Необычайное сравнение, передаваемое из уст в уста, докатилось наконец до муллы и здесь нашло твердую и точную оценку по шариату:

— Скотина, сравненная со свиньей, не пригодна для жертвы аллаху и подлежит уничтожению!

Жирную овцу пришлось за полцены сбыть с рук русскому покупателю, а так как деньги, вырученные от этой продажи, также считались опоганенными и тратить их на свои нужды—значило бы вновь впасть в грех, то их пожертвовали самому мулле.

Туктамыш знал про этот случай. Ничего удивительного для него в этом не было. Он был уверен в одном:

«Верхом на свинообразной скотине не должен правоверный предстать перед аллахом».

Началась мировая война. Туктамыш был мобилизован и провел годы в окопах, среди вшей, в холоде, голоде, лишениях.

---

<sup>1</sup> Курбан — жертвоприношение.



И как бы ни был голоден, никогда не прикасался он к еде, не осведомившись сперва, из чего приготовлена пища, в особенности, если замечал в ней признаки навару. Остаться совсем голодным или питаться впроголодь одними сухарями ему было гораздо легче, чем съесть что-либо запрещенное мусульманину и опять подвергнуться огненному очищению, что казалось несравненно страшнее, чем немецкие бомбы и «чемоданы».

Случилось как-то, что полк, где он служил, был послан в тыл, на отдых. Деревня, где полк расположился, была пуста, жители разбежались. Все было разграблено, разрушено и наполовину сожжено. На улице валялись обломки различных хозяйственных вещей, разбитая посуда, а в воздухе еще плавал выпущенный из перин и подушек пух. Туктамышу не было с товарищами, когда последние поймали в поле случайно уцелевшего борова. Боров был зарезан и отнесен на кухню; повар приготовил из него отличный суп.

На этот раз товарищи Туктамышу решили обмануть его: не говорить ему, что это свинина.

Необычный вид солдатской похлебки сразу показался Туктамышу подозрительным. Он стал расспрашивать, из чего приготовлена такая жирная и даже на вид вкусная еда, да еще в таких невиданных порциях.

Товарищи держали уговор крепко. Никто не выдал Туктамышу тайну вкусного блюда.

— Ради праздника из полка прислали,—сказал каптенармус.

— Мы и сами-то удивились такой небывалой щедрости,—ответил повар, не глядя на Туктамышу.—Если не веришь, на, посмотри!—добавил он, указав на кости и объедки с офицерского стола.

Туктамыш поверил. Обед был съеден им с необычайным наслаждением. И только спустя несколько часов товарищи сообщили ему об истории этого обеда и стали смеяться:

— Ловко мы тебя надули! Оказывается, татарин отлично может есть свинину и ничего страшного от этого не случается!

Предубеждения, впитанные вместе с молоком матери, остаются надолго в человеке. Потемнело в глазах у Туктамышу, закружилась голова. Наполненный желудок извергнул обратно весь съеденный с таким удовольствием обед.

Пришел голодный год—тысяча девятьсот двадцать первый...

Ели собак и кошек, питались лебедой, лишь бы «душа» держалась в теле.



К весне подоспела правительственная и общественная помощь. И несмотря на то, что дело шло о жизни людей, находились преступники, совершавшие большие злоупотребления в заготовке и доставке хлеба голодающим. От этого случались перерывы в помощи и провалы. Но организованная советская общественность победила голод, помогла и летняя пора, когда обильная природа дарила свои плоды борющимся за жизнь.

Туктамыш испытал на себе всю тяжесть непосильной голодовки. И когда появились первые признаки перемены к лучшему, он собрал последние силы и, еле волоча ноги, потащился к своему другу Петру, сыну Ивана, который дружил когда-то с ютцом Туктамыша.

Радостное рукопожатие соединило руки, в которых уже не было прежней силы. Зато в сознании друзей была уверенность, что тяжелое время осталось позади и будущее вернет потерянное.

— Знаешь, Туктамышка, нам один родственник жены прислал с Украины немного сала... свиного. Только этим и держимся,—каждый день по маленькому кусочку, а все как-то сытее...

Петр помолчал, а потом как-то нерешительно опять заговорил:

— Знаю, что вам по закону нельзя этого есть.... Ты не обижайся на меня, хочу тебе предложить... Может, попробуешь немного?..

Туктамыш видел, что Петр предлагает от чистого сердца, что нет здесь злого умысла, но крепко вросло в его сознание предубеждение; он чуть не отказался. Но голодный желудок пересилил страх «греха» и наказания разгневанного аллаха.

Впервые за всю свою долгую жизнь Туктамыш добровольно согласился попробовать свинину.

— Если не жаль тебе, угости. Съем.

Петр отрезал ему порядочный кусок, и Туктамыш, закрыв глаза, с жадностью набросился на запрещенное мясо.

На обратном пути идущего по лугам Туктамыша застигла гроза. Сверкали стремительные, словно вырезанные огненной иглой, зигзаги молнии, один за другим слышались раскаты грома. Туктамыш невольно задрожал, ожидая, что близится страшная кара разгневанного бога.

«Вот сейчас поразит тебя молния за то, что ты съел свиное сало!.. Аллах накажет небесным огнем ослушника!..»

Каждый новый раскат грома лишал его сил; ноги слабели, сознание мутилось. И когда, казалось, небо разорвалось от



нового, невероятной силы, удара, он свалился без чувств на землю.

Редкие, крупные капли дождя упали на Туктамыш. Гроза пронеслась. Он очнулся, освеженный прошедшим небольшим дождем.

Все это уже в прошлом, но стоит только разыгаться грозе, как Туктамыш уже ждет, что пришли его последние часы и молния аллаха прекратит его жизнь за то, что он добровольно согласился съесть свиное сало.

И вот этот самый Туктамыш, всю жизнь соблюдавший законы шариата и старательно оберегавший себя от какого бы то ни было соприкосновения с «поганью», пошел в этом году на работу в свиноводческий совхоз.

Это случилось как-то неожиданно даже для самого Туктамыша, но подошел он к этому решению не сразу. Постепенно он рос, поднимался по ступенькам, преодолевая при этом огромные трудности. Иногда же, споткнувшись, он падал и потом вновь вставал, или же давал зигзагообразный крюк на этом ухабистом пути, предусмотрительно обходя опасные для него места.

Сначала на германском фронте он—участник борьбы за окончание империалистической войны и сторонник укрепления советской власти. Потом—путь домой, в родные места, когда приходилось прорываться сквозь образовавшиеся бандитские отряды... В родной деревне—опять за укрепление на местах власти советов. Борьба бескровная, но ожесточенно-упорная за право владеть землей, а потом...

Потом вновь фронт. Фронт в своей деревне, далекой от всяких границ. Под градом пуль, под огнем разрывных гранат и пушек, с винтовкою в руках в окопах около деревни, возле реки, где в детстве купался, удил рыбу... Опять жестокая борьба против наступающих белобандитов,—он должен отстоять свою деревню, а вместе с ней все деревни, всю страну. Страну, которая несет и утвердит свободу всем угнетенным, которая даст свет и знание отсталым и темным народам...

В двадцать первом году борьба против голода. За жизнь. За существование.

Пора нэпа... Окрыленная новыми надеждами, ринулась вперед притихшая было буржуазия. Приходилось собрать все силы, чтобы устоять, чтобы выдержать этот напор, чтобы сбечь все, что дала революция. Трудное время, требовавшее от борцов огромной выдержки.



Нелегко далось оно Туктамышу, но он устоял.

Пришли волнующие, горячие дни, когда сотни и тысячи Туктамышей взялись за переустройство села.

Боевой клич облетел Страну советов:

«На основе сплошной коллективизации ликвидировать как класс всех трутней, жиреющих с чужого труда, всех мирских привок, сосущих кровь неимущего деревенского люда».

Туктамыш сразу не мог охватить брошенный лозунг и заколебался. Это не прошло не замеченным его прежними хозяевами. С улыбками стали они его приветствовать при встречах, зазывали в гости, предлагали пользоваться в случае нужды своими лошадьми.

Туктамыш был в большом смятении. Что-то большое, непонятное тяготило его. Какие-то смутные, неясные мысли рождались в голове.

И слышал чей-то дружеский голос:

«Будет! Насосались нашей крови... Так им и надо! Если они останутся среди нас имущими, то житья нам не будет».

Но чей-то голос из далекого прошлого говорил совсем другое:

«Это великий грех! Что, тебе не хватает места на земле?.. Или ты завидуешь чужому богатству?.. Богатство от бога. Богатый человек дает тебе работу, что же тут плохого?.. В чем вина твоего соседа, если аллах послал ему благополучие?..»

Голос разума настойчиво спрашивал:

«Почему же аллах не послал тебе такого же благополучия? Почему твой отец, твой дед всю жизнь работали на других? Почему ты сам идешь по их пути?..»

Вкрадчивый «послушный раб» плетет свою паутину:

«То, что принадлежит другому, не может быть твоим. Присвоение чужого имущества запрещено самим богом. Кто совершит противное—будет наказан огнем... Чужое добро не будет впрок мусульманину, а взятое от мусульман не принесет пользы колхозу. Надо помнить об этом и не брать греха на душу».

Эти два голоса постоянно перекликались между собой в раздвоенном сознании Туктамышя.

Идет он в совет и там слышит слова «разумного голоса»:

«Пора покончить со старой жизнью. Иначе—пропадем!»

Встретясь с муллою, с муэдзином, поговорив с набожными стариками, он узнает возраженья «послушного раба»:

— То, что дано богом, хочет отнять шайтан... За присвоение чужого добра, как и за осквернение свининой, одно наказание—огонь!..



Одни, в том числе и Туктамыш, прислушиваясь к внутреннему голосу, стали частенько повторять слова «послушного раба». Других принуждали к этому почетная горячая баня, жирные олады, долги зажиточным соседям, проклятия муллы или же родственные связи.

Различны были сторонники «доброго старого времени», различны были и причины, заставляющие их повторять «покорные» слова, но цель всегда одна:

«Не быть колхозу! Всеми силами защищать тех, кого хотят ликвидировать как класс! Пусть «туктамышы» останутся в вечной кабале».

Было собрание в совете. Было множество народа. Обсуждался вопрос об обобществлении семян. Во время горячих и продолжительных споров из задних рядов кто-то крикнул:

— Если будете так делать, то мы выходим из колхоза!..

Председательствующий, не ожидавший, к чему приведет заданный им вопрос, спросил:

— Как это — «если будете так делать»?..

Подготовившаяся группа только и ждала момента, чтобы сорвать собрание.

Со всех сторон посыпалось:

— А вот, если будете отбирать все...

— Если сегодня коровы вам понадобятся, то, может, завтра баб велите пригнать.

— Ты нам скажи, почему керосина нет?

— Куда весь ситец подевался?..

Поднялся невероятный шум. Как ни пытался председатель восстановить порядок, это не удавалось. Пришлось закрыть собрание.

А на другой день перед советом собралась толпа желающих выйти из колхоза.

Секретаря колхоза забросали заявлениями о выходе из артели. Почти все заявления были написаны одним и тем же почерком, и можно было бы установить, кто писал, но это не имело смысла, так как каждый на словах подтверждал свое желание.

— Не нужен мне ваш колхоз, потому и выхожу. Без него обойдется и с голоду не помрем.

Если почему-либо секретарь не принимал заявления, то пришедший просто бросал его на пол и уходил.

Колхоз развалился...

Тогда шли памятные всем и волновавшие сердца бурные дни,

наступившие после «головокружения от успехов». Во многих селах и деревнях происходило почти то же самое, и растерявшиеся сначала, а потом начавшие трезветь актив и руководство деревни были бессильны противстоять этому бешеному разгулу разбушевавшейся стихии.

Враги коллективизации праздновали удачу. Они разъезжали по гостям и обильно угощались. Их приспешники получили в награду жалкие подачки.

Туктамыш оставался в стороне; он ничего ни от кого не принимал и чувствовал, что был прав в своих поступках, хотя и находился в лагере людей, которых ненавидел.

А себя успокаивал, что он поступил, как подобает настоящему мусульманину, не приняв на душу греха.

Крепкими нитями было тогда связано его настоящее с его прошлым.

Те, которые так умело и искусно сумели разогнать колхоз, окрыленные успехом, затеяли новое дело.

В свое время был задержан и отправлен в город мулла, открыто занимавшийся агитацией против существующей власти и призывавший народ к беспорядкам и бунтам.

Пустили слух, что муллу обвиняют в укрывательстве какого-то офицера...

И тут же слух подстрекательски опровергался:

— Ведь это—клевета! Мулла жил у всех на виду, и всем нам известно, что он никого не укрывал.

— И умереть-то спокойно нельзя теперь!.. Кто прочтет над тобой «иман»<sup>1</sup>, кто совершит «джиназа»<sup>2</sup> и положит в могилу?

Кругом заговорили:

— Пусть выпустят муллу! Зачем держать в тюрьме невинного человека?

Неистовствовали женщины. Крикливой толпой они собирались в совете, требуя возвращения муллы. И когда стало ясно, что они ничего не добьются, толпа, в большинстве своем состоявшая из старух и баб, отправилась за несколько километров в соседний город.

В этом бестолковом и безалаберном шествии среди немногих мужчин находился и Туктамыш.

Сын и дочь его—активисты деревенского комсомола, долго спорили с отцом, подпавшим под влияние чуждых ему людей.

<sup>1</sup> Иман — вера.

<sup>2</sup> Джиназа — заупокойная молитва.



Сперва просто уговаривали и доказывали ему ненужность всей затеи, потом угрожали уйти из дома, но Туктамыш был непоколебим и настоял на своем.

Пришла весна. Под теплыми лучами солнца тает снег, и во всей своей неприглядности обнажается убожество старой деревни. Кособокими уродами стоят погнувшиеся, подслеповатые избенки, завалившиеся, раздерганные на топливо плетни, уныло торчат на весенних погостах мокрые шесты изгороди. Если бы «послушный раб» Туктамыш обладал способностью заглянуть в себя, он наткнулся бы на такую же картину. Весенние снега последних лет в своем стремительном таянии, в бурном беге весенних вод слишком многое унесли с собой. Вольный ветер новых мыслей гулял на освобожденном пространстве, и только кой-где одинокими черными уродами торчали гнилушки кособоких предрассудков и убеждений, «всосанных с молоком матери» или принятых «по заветам отцов». Иман мусульманина служил еще пока надежной рогожей, которая прикрывала всю неприличную наготу этих уродств.

Туктамыш не замечал ничего, и только случайная встреча с одним из его бывших хозяев подняла в нем новую волну сомнений. Разговор повели издалека:

— Говорят, и ты махнул рукой на колхоз, Туктамыш... Общее добре—собаке добыча... толку из этого мало... А как ты? Надумал себе что-нибудь?

— Пока ничего не надумал.

— Может, тогда вдвоем придумаем, а? Как в прошлые годы? Расчет есть: совету хлеба много нужно... Давай, коли охота, начнем... Лошади, семена у меня найдутся... Ну, скажем—напополам. Коли у тебя семена есть, и себе засеешь малость, а нет—у совета возьмешь: должны дать...

Почему-то почуял какую-то опасность Туктамыш в этом предложении, но не испугался. Видел он ясно и унижительность этой сделки, но не оскорбился. И только вспомнил постоянный упрек детей:

«Весь свой век на кулака работать хочешь?»

Правда этих слов была ясна ему, но старое держало цепко и он ответил:

— Подумать надо...

Жена—первый советчик для Туктамыша. Слушался он ее далеко не во всем, но каждое дело поверял ей, твердо помня одно, согласно заветам предков: «Жена—это самый надежный



друг и самый злейший враг мужчины. Совет у нее спроси, а поступай, раскинувши своим умом, с оглядкой!»

И на этот раз, как обычно, Туктамыш сообщил жене сделанное ему предложение. Жена рассказала все детям, и те резко заявили отцу:

— «Или иди обратно в колхоз, или лежи на печке, кормить тебя будем мы. Но если ты только опять станешь батрачить у кулака, ты нам тогда не отец—так и знай!

Туктамыш любил детей, враждовать с ними не хотелось, а он знал, что они народ крепкий: как сказали, так и сделают.

Ложиться на печку как будто рановато: и не стар еще он, да и на здоровье нечего обижаться... Стыдно такому сесть на шею детям.

«Как же тогда быть?»

Несколько дней прошли в тяжелом раздумьи. Дети хорошо изучили отца. Знали, что каково бы ни было его решение, он придет к ним с готовым и точным ответом. Потому и не торопили его, ждали.

А Туктамыш, словно стоя мысленно перед большими весами, подбрасывал гири доводов и выгод, следил за колебаниями неустойчивых чашек и думал, думал, думал. Вспоминалась вся долгая скучная жизнь, и нельзя было забыть оставшийся без ответа вопрос детей:

«До могилы хочешь на кулака работать?»

Детям нужно было дать ответ, и Туктамыш нашел на этот раз силы победить в себе самом «послушного раба».

Громадное большинство безлошадников и однолошадников, давших тогда жестоко обмануть себя и махнувших рукой на колхоз так же, как и Туктамыш, поняло, наконец, свою ошибку и группами начало возвращаться в артель. Колхоз стал вновь расти, как муравейная куча, развороченная в прошлом какой-то разрушающей силой. И пришедший уже к твердому решению Туктамыш, не говоря никому ни слова, отправился в колхоз и записался сеятелем.

Его не упрекали за старые ошибки, но сам он помнил их тяжелой памятью сердца, памятью крови. Горький опыт прошлого помог ему в недавней схватке избежать новых ошибок и с чисто пролетарской чуткостью выйти из сложного положения.

Дело было так:

В деревне неожиданно появились двое незнакомцев с пузатыми портфелями. Не успели любопытные разузнать как следует, что за люди, зачем приехали, последовал ряд заседаний



с участием прибывших. Собирались фракция сельсовета и фракция колхоза, президиум совета и правление колхоза, собирался комсомол, кой-кого даже вызвали с поля.

Как ни хлопотали встревоженные «корни» прошлого, всегда ожидавшие себе какой-нибудь новой неприятности, как ни заставляли они своих доверенных, чтобы хоть стороной, из-за угла, краем уха узнать, наконец, чего же им ждать от приехавших, — никто ничего не мог толком объяснить, и только позже, когда кончились все заседания, по деревне полетело:

— Нанимать людей приехали!

— Один — городской, на стройку контрактует, и колхозников, и единоличников берут... от нас тридцать человек ему нужно...

— А другой, тот — совхозный, из совхоза «Кабулсай», ему свинопасы требуются...

Деревня толковала. Но в этих разговорах, пока еще мирных, уже чувствовались бури будущих схваток.

Было ясно, что заведенный уклад жизни, к которому успели уже приноровиться, вновь дал трещину. Это понимали все.

Наступил вечер. Из труб потянулся дым, густо черный, жидко-ватый, серый, прозрачный, синий. Сплетаясь, эти струи дыма плыли над деревней. Переулок, выходящий прямо к реке, и тропинки, ведущие к единственному деревенскому колодцу, огласились незатейливой музыкой качающихся на коромысле ведер. Прозвучали веселые пионеры, возвращавшиеся со сбора. Покувыркались на влажной вечерней траве, мелькая красными галстуками, разбежались по домам. Сумерки сгущались. Мышиными глазами заблестели огоньки в некоторых окнах. Потянулись бригады с полей...

Общее собрание назначили почти на ночь. Вопрос был немалый. Приходилось из одной только, правда, большой, деревни собрать до пяти десятков испытанных, надежных работников, да еще в самый разгар полевых работ. Для большинства вопрос был ясен. Он упирался в большие требования больших начинаний. На совхозы и стройки нужны были люди, и ценой каких угодно усилий и жертв этих людей нужно было до-ставить.

Некоторых пугала растущая мощь больших государственных организаций. Прислушиваясь, они слышали все более уверенную поступь сотен тысяч людей, идущих в ногу, и этот грозный, неотвратимый гул наступления пугал их и вносил в их ряды смятение и бессильную злобу.

Народ на собрание шел бойко; ждать не пришлось. Про-



звенел колокольчик председателя. Начали. Доклад, потом обмен мнений. Кулачье прибегло было к старым испытанным приемам: заговорили о ситце, о керосине, об обуви, надеясь в этих животрепещущих вопросах потопить тот основной, ради которого созывалось собрание. Это не прошло: прием был слишком знаком, и во-время спохватившийся председатель успел дать собранию нужное направление.

Решительная схватка разыгралась при голосовании резолюции.

— Кто за?

И в вихре поднятых рук—чей-то голос:

— Ахмедулла подняла обе руки!

— Подсчитали Сарби-джинги, а она не голосовала!..

— Меня Ибрай неволил!

И пошло.

Ясно стало, что люди просто хотят сорвать собрание, чтобы разойтись ни с чем. Председатель с трудом прекратил шум и вновь предложил поднять руки, и опять разгоряченные люди сцепились во взаимных попреках. О том, чтобы сосчитать голосовавших, нечего было и думать.

Председатель пошел по другому пути.

— Кто против—пусть поднимет руку!

Не поднялась ни единая рука.

— Ну, значит—предложение принято.

Поднялся шум, раздались негодующие голоса.

Раздраженный председатель резко сказал:

— Тогда, товарищи, так и запишем: мол, несогласны.

Затихли сразу. Потом прозвенел чей-то слабый голос:

— Ты с чего это взял? Разве кто так сказал?

Высунулось лисье лицо, сверкнули бегающие глазки:

— Я так не говорил, и Салим-агай как будто тоже. Может, я не слышал? Может, действительно, кто так сказал?

Со всех сторон поддержали:

— Нет, нет! Никто так не говорил!

Опять поднялось все сначала.

Вопрос был сложный, требующий ясного ответа, точной, не половинчатой резолюции. Требовалось крепкое единодушие большого количества присутствующих, чтобы живые люди, полноценные работники, действительно добровольно согласились покинуть родные места, семью... Этого не удавалось достигнуть. Неопытность руководителей собрания и отсутствие подготовки сказывались. Пришлось отступить:



— По своему желанию всякий может наняться и уехать. Колхоз препятствий ставить не будет.

Записалось всего несколько человек, среди них, в числе выделенных комсомольской ячейкой—сын Туктамыша. Некоторые колебались, не записаться ли и им. Но все было ясно, что до утра они передумают и не запишутся.

Это было результатом поспешности, торопливости, отсутствия нужной подготовки вопроса,—ошибка непростительная и для руководства и для прибывших незнакомцев.

По окончании собрания хмурые и растерянные активисты долго еще толковали между собой. Приходилось выправлять ошибку. Порешили не торопясь подготовить вопрос, обсудить его со всех сторон, и лишь тогда вынести его на новое собрание.

Ранней зарей, когда еще не высохла роса, проснулась деревня.

Показались у колодца женщины с коромыслами, пришедшие за водой, заблестели самовары, кумганы<sup>1</sup>, медные подносы, принесенные для чистки песком. Из труб потянулись прозрачные дымки. Где-то защелкал пастуший кнут. Колхозники торопливо готовились на полевую работу, проверяли инвентарь, зная, что каждая упущенная минута будет равняться потом потерянному дню, каждый невыполненный процент задания—это десятки центнеров зерна. Пропустить срок, не выполнить план—все это будет на руку врагам и ляжет клеймом на коллективизированную деревню.

Сын Туктамыша продежурил всю ночь на комсомольском посту в конюшне, и, сдав всю конюшню, состоящую из здоровых выхоленных лошадей, бригадным, поспешил на свою дневную работу. По пути его внимание привлекла собравшаяся около колодца толпа. Она была весело возбуждена; молодежь смеялась, показывая руками на что-то; слышались оживленные голоса.

Сын Туктамыша направился туда, чтобы узнать, в чем дело.

Подойдя, он, ошеломленный, остановился. На колодезном столбе висела на мочальной веревке дохлая курица, под ней была прибита бумажка, написанная крючкообразной арабской вязью, безграмотно и бестолково, явно дрожащей рукой. Содержание гласило:

---

<sup>1</sup> Кумган — медный кувшин.



*По контракции совет требует от меня ежедневно по одному яйцу. И кооператив требует по одному; иначе не отпускает керосича, спичек, соли и мыла. Хозяин тоже жалуется, что работа тяжела, поэтому и он тоже просит дать ему одно яйцо в день. Я рада бы стараться, да не могу. Не умею нести ежедневно по три яйца. Решила покончить самоубийством. В моей смерти прошу никого не винить.*

«Ловко задумано! Умеют действовать, сволочи!»—подумал про себя комсомолец, и, сорвав объявление, засунул его в карман, бросил курицу в мусорную яму и зашагал домой.

Туктамыш сидел на краю сяке<sup>1</sup> без тюбетейки, в рубашке с засученными рукавами и расстегнутым воротом. Обжигаясь, он пил чай и, не прерывая сына, слушал, что тот ему рассказывал. Выслушав его внимательно до конца, он посидел, подумал и потом, что-то сообразив, взволнованно сказал:

— Не иначе, как сыновей Безухого Зарифа дело! Вчера слышал, как говорили, что у них на дворе курица поддыхает.

— Верно, верно,—подтвердила жена Туктамыша.—На собраниях сноха говорила, что Ахмедулла похвалялся, будто он этой курицей всю деревню позабавит.

Туктамыш неожиданно поставил блюдце на скатерть, соскочил с сяке и, не сказав никому ни слова, быстро выбежал из избы, забыв даже натянуть тюбетейку.

Председатель только что пришел в совет и был занят разборкой бумаг в какой-то толстой папке, как вдруг перед его столом появился взволнованный Туктамыш.

Раннее появление его указывало, что за ночь случилось нечто необычайное, и председатель встревожился.

Когда же Туктамыш объяснил, в чем дело, он сразу успокоился и равнодушно ответил:

— Обыкновенная история!.. Разве такие штучки новость?.. Кто это выдумал и для чего это сделано,—известно всем. Из подкулачного лагеря эти проделки...

Туктамыш отнесся к «истории» очень горячо и под конец

---

<sup>1</sup> Сяке — лавка.



разговора так разошелся, что даже стал упрекать председателя в бездеятельности.

— Что же так и будем молчать? По голове их за это погладим? Давно пора прекратить эти вылазки врагов! А мы все не можем ничего сделать.

— Что же прикажешь делать в данном случае?— не то сердито, не то иронически спросил председатель.

— Да вот пока народ еще не разошелся на работу, нужно созвать экстренное собрание. Работа от этого не пострадает,— потом приналяжим и подгоним, а это дело важное, и надо сейчас же поговорить о нем, а то еще что-нибудь надумают и делают.

Председателю не совсем понравилось такое предложение, ведь инициатива исходила не от него. Он как-то неопределенно ответил:

— Как же так? Без обсуждения, без согласования?.. Задержать народ... приостановить работу... Не ладно как-то это, Туктамыш-агай.

— Ладно или неладно, тут разбираться некогда,— перебил Туктамыш.— Ты готовься, а я скажу исполнителям.

Он выбежал из избы, не дожидаясь ответа председателя. А сельисполнителям просто приказал:

— Собрать весь народ на сход, на экстренное собрание! Дело первой важности. Да живо, смотрите!

Обошел всех членов сельсовета, кое-кому вкратце рассказал, в чем дело, а встречных на пути торопил:

— Идите на собрание! Экстренное! Председатель велел всем быть и скорее собираться.

Он так загорелся, что даже обошел целую улицу, созывая на сход, вместо нерасторопного сельисполнителя.

Торопившиеся на работу колхозники, хотя и не знали толком, зачем созывается собрание, все же явились.

— Ну, начинайте скорее! Ведь время идет. На работу надо... Для чего мир собрали?

— Не я созывал собрание,— заявил председатель,— а вот Туктамыш-агай. Пусть он и скажет.

Без тубетейки, с расстегнутым воротом выступил перед собранием Туктамыш. Глаза его горели, он был взволнован, но, стараясь казаться спокойным, начал:

— Ну что же, председатель не хочет, так я и сам могу рассказать... Никаких секретов нету... Вот на колодезный столб дохлую курицу повесили. Дескать, советская власть плоха, ни-



куда не годится. Дескать, только и делает, что обижает всех. Даже от курицы—и то требует ежедневно три яйца. А она вроде не могла этого выдержать и решила лучше помереть. И от вас она, советская-то власть, требует невозможного, требует, чтобы вы дали в такую горячую пору людей на стройки... Вот ведь как они, проклятые, все дело показывают!.. Поняли, товарищи?..

Туктамыш на мгновение остановился, а потом с жаром продолжал:

— Дядю их раскулачили, индивидуальный налог на него наложили. Да еще требуют от него уйму денег на содержание муллы, на ремонт мечети и на карманные расходы муфтия... Вот ведь они своего дядю не повесили, а повесили дохлую курицу... Лучше бы они повесили всеми обижаемого дядю своего...

Многие рассмеялись, а кто-то спросил:

— Это про кого же ты рассказываешь, Туктамыш-агай?

— А вы что же, разве не знаете? Известно, про кого!..— Туктамыш возвысил голос:—Про сыновей безухого Зарифа!.. Плохие шутки они выдумали. Слава богу, у всех бороды, и маленьких нет. Некого дурачить. Хорошо знаем, кто нам друг, кто—враг. Я вот сам плюю на них и добровольцем записываюсь итти на работу. Даже на такую пойду, что мусульманину запрещено. Сделаюсь свинопасом.

— А кто же за тебя в колхозе будет работать?

— За меня жена поработает, а за сына—дочь. Или думаете, не справятся?.. Справятся... Сын—на постройку, а я в свиноводческий совхоз... и вызываю на соревнование...

Туктамыш назвал с десятков имен из числа тех, которые, он знал, нуждались только в толчке.

Он не ошибся. Названные Туктамышем почти все приняли вызов и вызывали в свою очередь других.

Собрание длилось не более часа, и за это время оба списка—список стройки и список совхоз «Кабулсай»—были заполнены добровольцами.

На этот раз хитрости врагов не удались, даже дохлая курица не помогла.

В этот же день приехавшие незнакомцы заключили договора с колхозом, а вечером Туктамыш уже получил аванс и подъемные.

Но мысли «послушного раба» не совсем еще оставили его, и при всяком удобном случае они готовы были выставять ка-



кую-нибудь «дохлую курицу». Поэтому Туктамыш опять начал сомневаться и колебаться в принятом решении.

И вот, несмотря на то, что на собрании в горячке он гордо объявил себя добровольцем-свинопасом, когда настало время отъезда, он передумал и сказал сыну:

— В «Кабулсай» поезжай ты, а я поеду на стройку.

— Нет уж, отец, этот номер не пройдет!—твердо и решительно ответил комсомолец.—Работа на стройке—дело молодечное, а тебе там будет трудновато, года уж у тебя не те...

Вдруг Туктамышу опять послышалось:

«Запрещено!.. Погань!.. Наказанье—огонь!..»

И он решительно заявил:

— Тогда я никуда не поеду.

— Твое дело... не поезжай!.. Будь дезертиром! Стыдно будет на люди показаться и тебе и нам. Отец комсомольцев—дезертир!

Туктамыш все думал и взвешивал. В этой борьбе с самим собою он отстал от товарищей, отправившихся в совхоз, и прибыл туда с опозданием на целые сутки.

## КРОВЬ СЕРДЦА

(Отрывок из романа «Дыханье нефтяных гор»)

### I

Тревога охватила поселок, спавший глубоким сном. Все проснулись.

— Скорей! Скорей! Скорей!

В каждой квартире, в каждой казарме возникала суматоха. Коммунары схватились за винтовки:

— Скорей! Скорей! Скорей!

Помчались по каменным улицам к центральной площади поселка.

— Скорей! Скорей! Скорей!

Гудок, усиливая тревогу, созывал коммунаров:

— Скорей! Скорей! Скорей!

Минут через пятнадцать после гудка площадь заполнилась кожаными тужурками, блузами, перепачканными мазутом, патронташами, оскаленными дулами винтовок. Свет факела играл на патронах, на затворах винтовок, на дулах, целовал широко раскрытые глаза.

Бесперебойно билось сердце площади, изрытое камнями и железом. Бесперебойно бились сердца людей, закаленные фронтовыми огнями, дождями свинца, осколками чугуна, пропитанные запахом пороха, крови.

Груда железа и труб, служившая трибуной на каждом митинге, каждом собрании, стала трибуной и на этот раз.

Секретарь парткома, взобравшись на кучу железа, обвел глазами собравшихся коммунаров. Он потрогал маузер, бомбы, патронташ и снял кепку. Ночной холодный ветер растрепал его волосы.



Минута...

Глубокая тишина.

Но вот тишина раскололась.

— Коммунары!

Эхом отдалось в зияющих отверстиях труб:

— Коммунары!

Черные горы подхватили крик:

— Коммунары!

Возглас, качаясь на волнах степной ночной тьмы, долетел до скал у подножия промыслов. И они повторили крик:

— Коммунары!

Секретарь парткома, размахивая помятой кепкой, говорил:

— Коммунары! Мы свершили революцию. Мы вышли в революции победителями. Но мы еще окружены врагами. Нам мешают, нам препятствуют восстановить разрушенную промышленность. Каждый час, каждую минуту враги, как бешеные собаки, готовы наброситься на нас. Сегодня казаки станицы Ярмовлидской, в двенадцати верстах от наших промыслов, подняли восстание против советов. Железнодорожный путь прерван. Их цель—занять Грозный и промысла... Коммунары! Теперь не время для долгих разговоров. Я скажу кратко: мы не можем отдать в руки врагов нефть, эту кровь нашего сердца. Пока мы не уничтожим наших врагов, мы не сможем укрепить промышленность, укрепить нашу власть. Коммунары, вперед! На фронт! В пепел рассеять остатки контрреволюции!

Горы, трубы, скалы гремели призывом.

Речь секретаря раздула в сердцах рабочих-коммунистов пожар. Их глаза блестели, как расплавленная в домнах сталь. Их лица светились мощью, способной перевернуть весь мир.

Многим хотелось взобраться на трибуну и в ответной речи поклясться в том, что они без отступления пойдут по пути победы и не вернутся, пока не уничтожат остатки контрреволюции.

Но сейчас не время для долгих речей.

— Коммунары, в строй!

Кто-то рупором приставил ко рту ладони рук и повторил крик:

— Коммунары, стройтесь!

— Коммунары, вперед! Шагом марш!—крикнул секретарь.

Вдоль стены райпарткома потянулась длинная цепь штыков, заколыхались тени высоко поднятых голов, прозвучали крупные, уверенные шаги.

Комбатальон завернул за угол и исчез в темноте. Площадь опустела, замерла. Только сердце, потревоженное железными шагами, продолжало стучать. Пламя факела померкло, будто свет его поглотили рабочие-коммунары и понесли в своем сердце. За углом грянула «Марсельеза». Трубы, горы, скалы подхватили песню.

Тревога выгнала на улицу многих рабочих-некоммунистов. Среди них был Векиль.

Бикбов пожал ему руку и сказал:

— Берегите промысла, Векиль-абзы. Поглядывайте за пущенной сегодня буровой.

— Не беспокойся, Бикбов. Промысла убережем. Если понадобится, возьмемся за оружие,—отозвался Векиль.

То же повторяли все рабочие, вышедшие проводить коммунаров. Когда колонны двинулись, Мариам крикнула:

— Присматривай за нашим домом, Векиль-абзы. Не забывай мать и детей. Скажи,—скоро вернемся.

— Присмотрю, Мариам, присмотрю.

— До свидания!

— До свидания!

Комбатальон ушел. Замерли звуки шагов, затихли звуки «Марсельезы».

Провожавшие поодиночке разбрелись по домам. На площади остались трое:

ветер,

факел,

Векиль.

Ветер щекотал железо, камни, свистел в трубах. Факел тянулся ввысь, плясал, буравя ночь. Векиль долго-долго смотрел вслед ушедшему батальону.

## II

Векиль вернулся домой.

Дочь его Гульсум боязливо открыла дверь, прикрыв свет в лампе. И свет нехотя показал ночи ее красивое личико и блестящие, черные, как ягоды черемухи, глаза.

— Ты еще не спишь, доченька?—ласково спросил Векиль.

Гульсум, придерживая расстегнувшийся ворот ночной рубашки, села на постель, прикрывая дрожащее тело одеялом.



— Иль озябла? Чего дрожишь?

— Боюсь я, отец.

— Чего боишься?

Гульсум не ответила и, укрывшись с головой одеялом, громко зарыдала.

— Почему плачешь? Чего боишься? Или что случилось?— забеспокоился Векиль.

Гульсум откинула одеяло и крепко прижалась мокрой щекой к груди отца. Векиль поцеловал ее.

— Не бойся, доченька, не бойся. Ведь я с тобой. Скажи, чего испугалась?..

Гульсум посмотрела на худощавое, сожженное солнцем лицо отца и снова, уткнувшись в грудь, заплакала.

— Сердце у меня беспокойно. Вдруг тебя убьют. Я останусь круглой сиротой.

— Не плачь, дочка, не плачь. Нам нельзя плакать. Слезы оставь слабым. Ты должна быть мужественной. И я верю,— ты будешь такой. Вот вырастешь, вступишь в партию и бесстрашно, как Мариам, с ружьем в руках пойдешь на фронт.

— А когда мы уничтожим казаков, больше войны не будет? Да?

— Будет, доченька. Придется воевать с заграничными буржуями. Они наши враги.

— Эх, почему я большая, как Мариам-апа<sup>1</sup> Я бы сегодня ушла вместе с ними.

Вдруг раздался стук в дверь.

«Кто ходит ночью? Или на дежурство пришли звать? Или наши вернулись?»—думал Векиль, идя к двери.

— Кто тут?

— Я.

— Ты кто?

— Твой друг.

— Назовись.

— Увидишь, когда вступишь. Интересно будет. Да ты не бойся, Векиль-абзы. Я человек не опасный. Давно я с тобой не встречался. А увидаться хочется.

Векиль открыл дверь и посторонился, чтобы пропустить позднего гостя.

---

<sup>1</sup> Апа — приставка к женским именам, дословно: старшая сестра.

При виде вошедшего в чекмене, в большой белой шляпе, в ичигах, с кинжалом и маузером за поясом, Гульсум ахнула и испуганно прислонилась к стене. Векиль в первую минуту не узнал гостя. Широкополая шляпа скрывала лицо ночного посетителя. От него сильно несло самогоном. Векиль отошел к столу. Вошедший сдвинул шляпу на затылок и вытащил из кобуры маузер. Большие черные глаза воровски забегали по комнате.

Векиль глядел на пришельца, готовый броситься на него, но сдержался, и, попятившись, хрипло пробормотал:

— Ты... ты, Гаяз...

Вошедший, не меняя позы, расхохотался, обнажив хищные зубы.

— Ха-ха-ха!.. Ошиблись, Векиль-абзы. Я не Гаяз Мурзин. Хотя не все ли равно,—меняя тон, продолжал он,—не все ли равно, Гаяз Мурзин я или кто другой? Дело не в этом. Ведь вы смотрите на меня как на врага. Верно, Векиль-абзы? Верно. Ха-ха-ха! Можете не отвечать. Ваши глаза говорят за вас. Посмотрите на себя в зеркало. Вы похожи на обезумевшего, бессильного старого льва. Я не могу налюбоваться вами, до того вы смешны! Ха-ха-ха!

— А ты... ты похож на пса, нажавшегося падали. Мне противно смотреть на тебя. Мне хочется плюнуть в твою рожу,—хрипло ответил Векиль.

— Не кипятитесь, Векиль-абзы. Ваша ругань меня мало трогает. Я человек хладнокровный. Ха-ха!

— Говори, что тебе от меня нужно.

— Сейчас скажу. Только наберитесь хладнокровия, а не то конец будет плохим. Он идет—печальный конец вашей революции. И я пришел, чтобы сказать вам об этом. Мне вас жаль. Ведь вы, Векиль-абзы, несчастный, ничего не понимающий человек.

Векиль вздрогнул от возмущения. Лицо его то покрывалось бледностью, то заливалось краской.

А вошедший все так же насмешливо продолжал:

— Сегодня в казачьих станицах вспыхнуло восстание. Но это ерунда: его подавят. Только вам рановато радоваться. Скоро восстанут все горцы. Скоро придет в действие остывший вулкан Казбек. Крупные аулы, вроде Шатуя, Гюта, Турсман Тана, Шали, готовы к восстанию. Скоро власти большевиков на Кавказе придет конец. Скоро возродится ханство Шамиля, и ханство это станет непобедимым, грозным государством.



Векиль расхохотался.

— Не смейтесь. Впрочем, смейтесь. Плакать будете потом. Повторяю, мне вас жаль, как несчастного, ничего не понимающего человека. Бегите в горы, не то будет плохо. Потом будете раскаиваться.

— Спасибо за совет,—иронически ответил Векиль.

— Мне плевать. Хочешь—скрывайся, не хочешь—подставляй свою дурацкую голову под пули. Но раньше скажи мне, какие буровые пущены в ход, какие намечены на очередь, в каких складах хранятся материалы. Только отвечай быстрее. Я спешу.

Лицо Векиля покраснело, в глазах блеснул огонь. Он с силой рванул ворот рубашки. Медные пуговицы запрыгали по столу, как раскаленные искры. Теперь Векиль действительно был похож на льва, готового броситься на человека. Вид маузера удержал его от безумного прыжка. Он прислонился к холодной стене. Гульсум бросилась к нему, закрыла его своим телом и крикнула отчаянным голосом:

— Не стреляй! Не смей стрелять в моего отца!

— Ха! Жалкие людишки! Ну, будешь отвечать?

— Нет. И ты можешь отсюда убираться. Нефть—кровь нашего сердца. И никто не отнимет ее у нас. Она бьется неиссякаемым фонтаном.

В этот момент где-то близко раздался ружейный выстрел.

Человек вздрогнул, выбежал из двери и пропал в темноте.

— Мы еще встретимся с тобой,—на ходу крикнул он.

— Отец, я боюсь,—заплакала Гульсум, —Он хочет убить тебя так же, как убил мать.

— Да, да, это он, Гаяз Мурзин! Ух, сволочь!—воскликнул Векиль, ударяя кулаком по столу.

Он надел испачканную мазутом тужурку и кепку.

— Доченька, я пойду на промысла, посмотрю новую буровую. На всю ночь там остался один Насай. Как бы не заснул. Если он стал, помогу ему тарталить. А ты спи. Меня не жди.

Гульсум заперла дверь, потушила лампу и забила под одеяло.

### III

На вершине горы Векиль остановился.

Промысла, расстилавшиеся у его ног, были объаты тишиной, и только слабый стук, доносившийся из дальних кочегарок, нарушал ее. Мастерские, разрушенные будки, вышки, горы железа, высохшие озера мазута—все окутано густым туманом.

Редкие электрические фонари буравят окружающий мрак, напоминая, что промысла живы, что в горах теплится жизнь. В ночном мраке теряется вершина седого Казбека, отливающая днем в лучах солнца блеском расплавленного металла. На горизонте, там, где расположены казачьи станицы, край неба кажется подожженным.

Там идет бой.

Снаряды разрывают грудь земли. Пулеметы безумолчно трещат. Винтовки выплевывают дым. Свистят штыки, омытые кровью. Восставшие станицы в кольце. Со стороны промыслов наступает комбатальон. Со стороны города—бронепоезд. Наверху—чеченцы. А со стороны Нарзана их обстреливают станицы, оставшиеся на стороне советов.

Коммунары не могли подойти на близкое расстояние к станице. Пулеметы, поставленные на церковных колокольнях, покрывали поля дождем свинца и преграждали дорогу комбатальону. Ему на подмогу подошел бронепоезд. Рывкнули орудия, выглядывающие в стальные амбразуры. Снаряд прорвал воздух, долетел до станицы, упал в церковь. Рухнула колокольня, десятки лет кичливо высившаяся над окружающими постройками. Посыпался дождь кирпичей, блестящий медный крест врезался в землю. Колокола превратились в груды осколков.

Отчаянно билась кавалерия. Свистели сабли, обогранные кровью, сверкали клинки в свете пожарища. Встречный ветер трепал взлохмаченные, окровавленные гребни бурного потока. Пьяные волны несли в своих объятиях обезглавленные тела, швыряли их об острые камни и влекли вдаль бесформенные куски.

Повстанцы, спрятавшиеся у кладбища, не знали, куда двинуться. Наконец бросились к станицам, обещавшим поддержку. Но станицы не сдержали обещания. Завязался бой—казаки против казаков. На телеграфных проводах, на ветвях деревьев повисли трупы...

Сердце Векиля вдруг тревожно забилося. «Застоялся я тут. Забыл про буровую»,—подумал он и торопливо зашагал под гору. Скоро его фигура потонула во мраке...

Буровая не работает. Буровая слепа. Буровая молчит, охваченная тишиной. Дребезжавший днем маховик, бежавший безостановочно ремень, подымавший целую вьюгу барабан, канат, тащивший желонку,—теперь застыли без движения. Только пар тяжело сопит.



— Насай, а Насай! Почему остановили буровую? Почему не важег огня?—крикнул Векиль.

Ответа нет. Векиль бросился к тормозу. Никого. Место тартащика пусто. «Верно, спит где-нибудь»,—решил Векиль.

Векиль испугался.

— Насай, Насай, где ты? Что с буровой?—крикнул он.

Кругом мертвая тишина. Векиль спрыгнул с тормоза и стал метаться по буровой.

Пощупал сухопарник. Чуть не ожег руку: так сильно бурлил в нем пар. Подошел к машине. Машина стоит, будто живая. Пар готов пустить в ход двигатель. Векиль подошел к маховику. Ремня нет. Поверхность маховика гладкая, холодная. Страшная догадка мелькнула в его голове. Он обежал вокруг маховика в поисках ремня, но ничего не нашел.

— Насай, Насай! Где ты? Почему стоит буровая? Где ремень?—уже иступленно крикнул Векиль.

Напряженная тишина... Тьма. Вдруг он споткнулся о какой-то предмет. Нагнулся, стал шарить. Руки окунулись во что-то теплое, мягкое, похожее на нефть, только что вылитую из желонки. Между пальцами проскользнула ящерица. Векиль вздрогнул. Скоро его руки нащупали вход в скважину. Темнота и неизвестность увеличивали страх, и тело Векиля билось в мелкой дрожи. Вдруг Векиль с ужасом ощущал сквозь липкую жижу человеческую голову, рот, уши, нос, глаза.

— Человек!—дико закричал Векиль.

Он вытащил труп на склон горы, положил его на траву и чиркнул спичку. Колеблющийся свет спички осветил изуродованное тело тральщика Насая.

«Упорно боролся, бедняга»,—подумал Векиль, глядя на бесчисленные раны, покрывавшие тело Насая.

И в груди его вспыхнула пламенная злоба. Она была так велика, что превышала величину гор, так горяча, что кипящая лава вулкана показалась бы по сравнению с ней чуть теплой...

#### IV

Утром загорелась небесная домна—солнце и растопила свинцовые тучи. Казбек заблестел ледяным покровом, напоминающим поток расплавленного металла. Исчез туман, окутывавший промысла. Обнажились развалившиеся стены, выбитые рамы, сорванные крыши... Точно деревья с обломанными или обгорелыми ветвями, стояли бездействующие вышки. На кочегарках уце-

лели лишь высокие трубы да котлы. Всюду валялись груды ржавого железа, измятые, опрокинутые резервуары, барабаны, шкивы. Чернели озера и ручейки высохшего мазута.

Ранним утром в буровой № 93 приладили новый ремень. Машина заработала полным ходом. Шкив завертелся в бесчисленных оборотах. Ветер зашелестел красным флагом, поднятым на маковке буровой. В резервуары потекла густая нефть, вскипая зелеными, синими пузырьками.

Рядом с буровой заработала вторая, третья. Кровь сердца не высохла.

Кровь сердца kloкотала, шумела.